

*Валерий ермолаев
и вызреет антарь*



Валерий Ермолаев

стихотворения

Дарственный
экземпляр

Морткинский
ФИЛИАЛ
Кондинской ЦБС

БИБЛИОТЕЧКА ПОЭЗИИ ЖУРНАЛА «ВЕСИ»



ВАЛЕРИЙ ЕРМОЛАЕВ

Замечательный
Морской
Бобик
на годую и на и на в
об авиации
и ВЪЗРЕЕТ ЯНТАРЬ

25.03.2007
п. Мортка

ББК 84 (2Рос=Рус)6-5
Е 74

Ермолаев В.Н.

Е 74 И вызреет янтарь: Стихотворения.

— Издательство журнала «Веси», 2003.

— (Библиотечка поэзии журнала «Веси»).

Первая книга уральского поэта Валерия Ермолаева «Журавлиный язык» увидела свет в 1992 году. Новый его сборник стихотворений открывает библиотечку поэзии — приложение к уральскому литературно-художественному и историко-краеведческому журналу «Веси».

ЧИСТЫЙ ДВОР

© В.Н.Ермолаев, 2003

© Журнал «Веси», 2003

Звезды падают быстрыми искрами.
Звездный дождик стократ расплескав,
волны вынесли теплые, близкие
светляки на ладони песка.

Звезды падают, падают, падают,
угасая... И, черт побери,
мне так хочется выловить каждую
и рассыпать у чьей-то двери!

1967

Лежит бабка на печи
и считает кирпичи.

В животе уха урчит.

Для меня с печи ворчит:

— Как полюбишь — поглупеешь,

заболеешь — помудреешь,

добрым — счастья не видать,

злым — на небе не бывать,

смелым — голову сложить,

тихим — долго будешь жить.

Лишний раз-от помолчи —

встретишь старость на печи!

Я и так всю ночь молчу

и строчу стихи, строчу...

Он имел свои снасти и лодку, и весла,
и был я у него — белообрисым матросом.
Мы с ним рыбу ловили в речном затоне,
только я был на редкость ужасный соня.
То подъязка, то окуня — рыбку за рыбкой —
он вытаскивал на берег с глупой улыбкой.
Поправлял поплавков и свинцовое грузило —
я таскал пескарей, они меньше трусили.
Бубен солнца за сосны катился, огромен,
замыкали мы лодку у розовых бревен.
Ключ с цепочкой он вешал за вырез тельняшки
и мы мяли устало прибрежную кашку.

Его тихая мама, вдова тетя Маша,
мне историю Ванину рассказала однажды:
— Ваня мой в сорок пятом на лесозаводе
на штабелевке в пятнадцать робил.
Завалил его как-то этот штабель проклятый...
Целый день разбирали... И вот глуповатый.

Сколько сказок хороших останутся сказкой!
И мой Ваня не встретит Василисы Прекрасной.
Его верный матрос подрастет и уедет,
да в подарок пришлет ему новенький бредень.

1968

Не курю, а тянет почему-то...
Тополь в небе звезды теребит.
Там луны яйцо сварилось круто
и навряд ему его разбить.

Ночь такая обещает ведро.
Нежен и настойчив блеск Стожар.
И дерев аnisовые бедра
словно в ожидании дрожат.

Сердцу если по ночам светлее,
пусть сияет ночь над миром, пусть!
Не усну! На верях аллеи
поразвешу и забуду грусть,

позабуду все, что днем напутал,
потеряю — что понять невмочь.
Не курю, а тянет почему-то.
Еще ночь... Еще над миром ночь!

1967

Цветет июль и манит от дорог,
волнует сердце долгожданной встречей
и дарит мне осин девичий вздрог
и грусть берез, и радость теплой речки.

Цветет июль и так в лесу мила
мне птичья трель и птичья перебранка.
На ложе лога робко расцвела
богиня пармы — смуглая саранка.

Цветет июль. Пылится синью рожь.
В разливах кашки белые поляны.
Я в этот мир цветенья тоже вхож,
я от июля молодой и пьяный.

1967

Звенело солнце, стекленели ели,
сбежал экватор к нашей параллели.
Жара пьяняще комкала рассудок
и близость нам одна была остудой...
Ушел тогда, боясь обманов рая,
ушел, в туманах осени теряя
и жар неловких поцелуев в груди,
и первый стон... И зная — не осудишь.
Другие, милые... Все так похоже,
но словно я бреду сквозь них проходим:
все крылья рук зовущих в лебеде
взлетают в памяти и машут мне везде.
Сейчас зима. Капель не хочет плакать,
свистит пурга... И только в сердце слякоть.
О, как сбежать хочу через метели
туда, где ты живешь, где стынут ели,
где наше лето помню сном горячим,
где обо мне грустишь, таком незрячем!

1968

За обрывом, где синие глины
на белый песок сползли,
солнце заспелой малиной
тает в устах земли.

Гулко стучит целый вечер
дятел на том берегу,
ивы, прильнувшие к речке,
древнюю грусть берегут.

Вышла и пригоршней звезды
сеет по небу луна.
Час драгоценный и поздний
нас опьянит без вина...

Вот замерцали Стожары,
пали туманы на луг.
Нас до домов провожает
в речке серебряный струг.

Полоскались в веслах отсветы заката,
пахли груди юные луговой мятой,
а трава примятая поутру вставала
и кукушка в соснах годы куковала...

То ли это было, то ли все приснилось,
что вот здесь недавно сладко
мне любилось?

Заросли лабазником тайные следы,
лодка порастрескалась без живой воды,

травушки покошены, где цвела любовь,
не кукушка манит вдаль — журавлиный зов.
Я в докучных копнах плачу и пишу,
но возврата юности что-то не прошу...

Чистый двор ваш в объятьях черемух.
У ворот — твоя тихая мать.
Этот лад деревенского дома
так хотел я недавно понять.
Это озеро, ставшее нашим,
где уснули рыбачьи плоты,
где зеленую майскую пряжу
ива тихо прядет у воды.
Эти тропки твои по обрыву,
эту даль заозерной страны
полюбил я в весеннем разливе
под надрыв журавлиной струны.
Это все мне открылось с тобою.
А теперь — только горький помин.
Со своею смешною любовью
я остался один на один.

Вспомнить в этот блеклый вечер
угораздило меня,
как ушла твоя улыбка
исчезаньем дня.

Говорят, что помнят тех лишь,
кто тебя отверг,
но, ведь, было: — Мой, — шептала
у апрельских верб?

Воспоминание — награда,
если прошлого не жаль.
Если жаль — тогда на сердце
ляжет белая печаль.

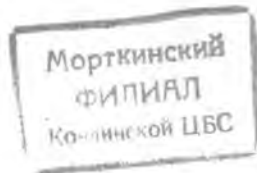
Пускай хранит резная берегиня
 мои тропинки в царствии берез.
 Я счастлив здесь. Душа моя пустынна
 без их весны, без их зеленых кос.

Пустынна мне и отчина родная
 без белой рощи в сорок сороков.
 Цвети, береза, девушка простая —
 любовница и муза моих слов!

Офорты зимние сменяя
 листьями мартовских гравюр,
 весна идет, озорничая,
 сметая надоевший «сюр».

Откинув плащ демисезонный
 в листы оттаявшую прель,
 раскрасит серые картоны
 апреля нежная пастель.

Береза, косы выжимая,
 покинет белую купель —
 ее зеленой кистью мая
 оденет в платье акварель.



Река таежная, Тавда-река!
Ты не воспета, как сестра Ока
на дорогих холстах художников кистями.
Твоей красе, сияющей веками,
твоей воде, натруженной плотами —
моя негромкая влюбленная строка!

Ты щедро даришь мне, моя река,
приют утех рыбацких — пережат,
высоких яров утреннюю просишь,
цветущий мир зареченских покосов...
Навек влюблен в твои седые плесы,
где спят поныне струги Ермака!

1962

Твоей водой гордились сукноделы.
Плотиной полнилась, вращала жернова.
А вот теперь осталась не у дела —
цветет на отмелях забвения трава.

Лишь бор над берегом звенит тревожной
стрункой —
последний твой экологический редут.
До Ермака прозвали Каратункой,
теперь... Нахаловкой привычнее зовут.

Бежишь, речушка, поишь огороды,
храня печаль о прошлом в омутах.
Что нам твои неспешные заботы
и что тебе людская суета?

Мой город зеленый
над рекою Тавдой,
ты родиной стал мне,
а значит — судьбой.
В огромной стране
затеряться легко,
но сердцем я здесь,
где б ни был далеко.
В короне лесов,
в ожерелье озер
мой город с Россией
ведет разговор.

Три речки впадают
как прежде в Тавду.
Три улицы детства
нас преданно ждут.
Три поезда в сутки
встречает перрон,
но где тот, из юности,
синий вагон?..

В ветвях тополиных
блуждает звезда
над городом детства
с названием Тавда.
С песчаных окраин,
где живет тишина,
звучит мне поныне
гитары струна
и в платьице белом
тот бал выпускной

останется в сердце
навечно со мной.

Вот снова встречает
деревянный вокзал.
Меня он не раз
в дальний путь провожал.
Я ласковой женщине
здесь говорю:
тебе этот город
как песню дарю,
как юность дарю,
дарю как любовь...
Он с нами поделится
светлой судьбой.

Когда бы я здесь ни проехал
домой, повидав белый свет,
и глазу, и сердцу утеха —
знакомому луга привет,
где рощу в тринадцать сосенок
оставил вогульский топор,
где малую речку с пеленок
пестует недремлющий бор,
где первонасельников рвением
на взгорке, открытом ветрам,
в Кошукском селении древнем
стоит белокаменный храм.
Взойду по ступеням, безбожный,
повинно затеплю свечу
во славу отчизны острожной,
в которой свой крест я влачу.
Под белыми сводами горше
о бренном и вечном печаль
и скажет заветного больше
немая молитва — свеча...

А жизнь, как поглядишь — театр!
И на крутых ее подмостках
шагнул — и драма,
два — комедия,
споткнулся — фарс,
упал — трагедия.
Тут не ходульны персонажи:
и враг — так враг,
а друг — так друг,
и подлецов очерчен круг,
и страстотерпец здесь несчастлив,
и не наказан страстоцвет..
О, лишь самообман — сюжет!

Вот наконец ушла двухдневная метель.
 Проведывать пришел сосну, осину, ель —
 знакомый уйму лет урманный древостой
 в любимой стороне за городской чертой.
 Прибавила метель ожогов и заноз
 на фетровых стволах простуженных берез.
 Там пал могучий кедр и утонул в сугроб,
 запутавши вконец узоры лисьих троп.
 Понес опять в дупло добычу бурундук.
 Как просьба на постой, упорен дятла стук.
 В рябиновых логах раздолье снегилям
 и иже с ними всем пернатым декабря.
 Шум речки дерзок меж обледеневших свай,
 где мельница была,

где страшный жил «бабай»...

Здесь опьяняет вздох, а выдох не трезвит,
 здесь по — иному жизнь
 идет, бежит, летит.

Не мне подружка ветреная слава.
 Ее холеным ножкам на фиго
 моих стихов колючая отава
 на скошенных есенинских лугах.

Природе стихи ни к чему,
когда ей стихии подвластны.
И надо добавить к сему —
ее равнодушие прекрасно!

Когда откроешь вдруг,
что сказ-трава из детства —
всего лишь скромная аптечная ромашка,
такая грусть пронзит!..
Спасительное средство —
косые строчки на случайной промокашке.

Пишу, но слог мой вновь
так примитивно грустен.
Зачем, за дальнее цепляясь и любя,
зачем пишу,
когда есть русский устный —
вон журавли на нем пролетные трубят!

ОСТЫВШИЙ
ПОДОКОННИК

На подоконнике сидела
в бумажных простеньких чулках,
в мои глаза она глядела
и плакала в моих руках.

Я целовал ее колени
и их запретное тепло
текло в строку стихотворенья,
что долго сердце берегло.

А вечером заулок сонный
встревожит разудалый свист.
Через остывший подоконник
в дом влезет пьяный тракторист.

Она его привычно примет,
давно попавшая в силки,
а тот неторопливо снимет
с нее бумажные чулки.

Все настоящее — случайно.
И чем случайней, тем верней
мы прикоснемся к вечной тайне
любви... Но до остатних дней
нам не познать, увы, природы
ее невыразимых чар.
Одно дано: сжигая годы,
мосты, сердца питать пожар
любви... Сгореть — обречены.
И вновь с букетом розы чайной
иду на зов шальной весны,
приход которой — не случаен.

Наступит долгий зимний вечер.
Под шум затопленной печи
поговорим с тобой о вечном,
а о сердечном помолчим.

Под треск осиновых поленьев
пустяшных клятв не повторим,
как черновик стихотворенья
в последнем пламени сгорим.

Неужели вдруг удача:
после стольких черных вех
утолят мои печали
эти плечи, этот смех,
эта чуткая морщинка,
эта утренняя статья,
эта нежная ложбинка
с белой искоркой креста?..

На качелях — по августу — ввысь
понесло за тобой мою жизнь
после долгих неправедных зим...
Я смотрю на тебя, невидим —
ты взлетаешь в тумане волос,
разорвавших оковы кос,
ты на гребне качающихся волн!..
Август этим качанием полн.
Мне судьба так изысканно мстит —
твою юность так поздно дарит.
Где-то там, из галактик она,
мне, не знаю за что, но дана!
Опаленные в мае крыла
я сжигаю сегодня дотла.
Из тумана волос оглянись —
понесло за тобой мою жизнь...

Вчера уехала, а мне опять
влачить разлуку обреченно,
бродить в сугробах отрешенно
и на снегу стихи писать.
И ждать, когда, совсем измуча,
мне трубка эхом донесет
через помехи всех широт
твой голос тихий и певучий.
А во дворе, где гроздь калины
в твой след заснеженный упавшая —
такой тоски давно не знавшая,
моя душа в разлуке стынет.

Простим — пусть говорят о нас,
простим людей за злые речи.
А я вот счастлив каждый раз
от каждой нашей редкой встречи.

И что мне весь житейский сор,
что мне косые взгляды, сплетни,
когда ты знаешь — я не вор
твоей весны двадцатилетней.

Я помню — есть всему конец,
но август наш был мне подарен,
но ты — моей судьбы венец
и небесам я благодарен!

Сегодня делал фотографии.
Но рядом не было тебя —
моей ворчуньи и помощницы,
моей засони и ревнивицы,
моей занозы и строптивницы...
Ах, рядом не было тебя.

Когда я делал фотографии,
ты рядышком всегда была.
Сама себе любила нравиться,
со мною спорить и упрячиться —
что, мол, на снимках не красавица...
Ты рядышком всегда была.

Всю ночь я делал фотографии,
а ты в другом краю спала,
моя ночная собеседница,
моя незримая союзница,
моя любимица-красавица...
А ты в чужом краю спала.

Ночью одному грустно.
Хочется быть вдвоем.
И разве мы не об этом
дневные песни поем?

Сияют в садах сирени,
тонут в разливах луга.
Хочется белой ночью
к тебе — через все — убежать.

Чтоб встретить тебя и слушать,
и говорить невпаопад,
чтобы испытывать сердцем
неотводимый взгляд.

Столько обманутых весен,
столько безлюбых ночей...
Впору расплакаться только
на белом твоём плече.

В юности глупой придумал
эту весеннюю боль,
которая, кажется, стала
моею банальной судьбой.

Ах ты, судьба — субретка
жизни, своей госпожи —
хватит же, хватит мне голову
медом июньским кружить!

Ларисе

Не связывать хочу, а рвать
и узы неба, и узду юдоли.
Хочу любить как на обрыве рва
в последнем вопле от последней боли.
Хочу в глазах раскосых, не чужих,
увидеть смысл своей и высшей сути
и раствориться без остатка в них,
впервые не застыв на перепутье.
Хочу при звездном трепетаньи свеч
упасть лицом в родимые колени
и навсегда себя обречь
на неписание стихотворений.

Опять кричишь и плачешь... Да понятно,
 что «жизнь длинней любви», и что
 «нам не вернуть — банально! — все обратно»,
 и что — еще банальней! — «ни за что
 не будешь больше унижаться, плакать,
 ругаться, нервничать, следить за мной,
 варить, стирать...» О, Боже, как на плахе!
 Обижен, зол. И ты. И не впервой.
 Молчим... И оба, оба ждем отлива.
 Молчим, заранее прощая и любя...
 И пусть, и пусть я буду несчастливym
 с тобою, а не без тебя!

Изведать ад начертано и мне.
 Судьба не знает глупых церемоний:
 стенай, моли, сползая по стене —
 она свой перст в пощаде не отклонит.

Кинжал не страшен, верность ни к чему,
 бессильно злато и не властно слово:
 спасенья круг швыряя одному,
 судьба сорвет его безжалостно с другого.

Изведать ад начертано и мне.
 Я там уже, где вопли и рыдания,
 я там, на самом страшном дне...
 Ад — на земле. Любовь ему названиее.

Движения лица при разговоре,
полеты танца в комнате пустой.
Слежу, волнуясь, отвечаю вздором
на вздор. Я здесь как понятой.

На юном пире, знаю, я случайно.
Придет похмелье скоро. Не впервой.
Ее орбита на витке начальном
с моей усталой встретилась кривой.

Печальны серые леса,
печальна милая улыбка.
Нам ниспослали небеса
любовь — как плату за ошибки.

У всех украденный запой
остался космосом в глазницах.
Мы воспаряли над толпой —
две окольцованные птицы.

Достанет выстрелом хула!
Притащит нас под рваный полог
за перебитые крыла
судьба — бесстрастный орнитолог.

Прощальный черный разговор
твой конь унес во весь опор
в ночную темь, в пургу, в февраль...
Не жаль коня, себя не жаль.
Тебе, настигнутой пургой,
я — колокольцем под дугой —
один звеню среди гоньбы
твоей запутанной судьбы.
А конь несет во весь опор!
С судьбою длится гиблый спор!
Но темь мертва, ни зги вокруг...
И колокольца гаснет звук.

И царственный декабрь
мне не сулит фавор.
О том, что вновь один,
пепечалиться грешно,
а на тропе к тебе,
как красный светофор,
расхристанный снегирь
горит в мое окно.
Преддверье Рождества...
Но как в судьбу ни верь,
ее не угадать
полночной ворожкой
и пусть горит снегирь —
я открываю дверь
в уже иную жизнь
с уже иной судьбой!

Любе Стасюк

У любви такие времена:
весен — сто,
двадцать четыре лета,
осень с бабьим летом пополам
и зима — для боли и ответа.

Когда они прощались и прощали,
то знали точно — это навсегда,
и с облегченьем руки размыкали,
друг друга не любя тогда.

Когда ж на склоне жизни вспоминали
усталыми сердцами те года,
то оба обреченно понимали,
что лишь тогда любили, лишь тогда!

* * *

Что наша жизнь, в конце концов, такое —
милльон терзаний в поисках покоя,
grimасы масок в поисках лица,
начал начала поиск без конца?...

* * *

Меня «который час?» спросили,
а я всю жизнь им рассказал.

«Раскинулось море широко»
мужик у подъезда орет.
Получку привычно жестоко
жена из него «достаёт».
Ему не впервые, не больно,
и «волны бушуют вдали»...
Иду я, свидетель невольный
сей драмы в дворовой пыли,
и мне не в новинку, настолько
привычен и жалкий кутеж,
и с песнею пьяница горький,
конечно, но все же, но все ж...
Занозит беспутное пенье
и хочется вдруг подпевать
знакомую песню с рожденья,
где рвущие сердце слова:
«Раскинулось море широко
и волны бушуют вдали.
Товарищ, уедем далеко,
подальше от этой земли...»

Всходит черное солнце страха,
красит белым загаром лица.
Шарят сытые руки папаху,
что забыто в бурьяне пылится.

Тяжким бархатом сломано древко.
В корчах боли финал пантомимы.
Митинговая горькая спевка,
видит Бог, не последнего гимна.

1990

Что ни прочти —
 все к прошлому набат.
 Во что ни вслушайся —
 лишь плач да мат.
 Куда ни погляди —
 там вечный стыд и грусть...
 И рифма просится привычно —
 «Русь».

1995

Черный полог в звездный горошек
 успокоит роптанья толпы.
 Неземная накроет пороша
 христианского времени пыль.

Птица Сирий прокаркает вороном.
 Новым солнцем взойдет НЛО.
 Жизнь помчится орбитой разорванной,
 покидая земной пантеон.

Раз в год, самой темною ночью,
в колодце всплывает звезда.
Кто это увидит воочию —
тот сможет судьбу угадать.
Но мало кто глянуть решится
той ночью в земное нутро:
ни баба, придя за водицей
к колодцу со вдовьим ведром,
ни поздний торопкий прохожий,
ни бич, ни влюбленный, ни вор —
страшит всех сей промысл Божий,
не верят в небесный фавор.
Никто не увидит сиянья
в холодной пещере воды
и звездочку тайного знанья
хоронят глубинные льды.
Кому ж она светит и снится,
над кем ее донная власть?
Тому, кто однажды решится
в призывные глубы упасть?!

Это все позади —
руки мамы и голос, и пенье.
Переношенных платьев
навек мне горек укор.
И в суровом бору
мои поздние стоны — моленья
не вернут ничего,
не согреют печальный угор...

Когда еще снова приеду сюда?
 Над шахтою Кирова светит звезда.
 За нею — шахтерских могил косогор.
 Как памятник братский маячит копер.
 Стою у могилы под низкой сосной,
 где вечным объятый — о, если бы! — сном
 лежит мой отец. И над скорбным ночлегом
 кузбасская осень расплакалась снегом.
 Наплачусь и я... Как придумали встарь,
 оставлю отцу поминальный стопарь:
 спи, вечный трудяга с крутою судьбой,
 прими запоздало сыновью любовь...
 Тебя не разбудит в забое шахтер,
 ему не подрывать твой суровый угор.

Ленинск-Кузнецкий, 1997

Великий град! Я помню с ранних лет,
 как мама плакала, когда при ней
 произносили только имя «Ленинград»...
 Анна Андреевна, святая моя мама,
 в девичестве Анюта Шевелева,
 дочь поселян из белорусской веси...
 Когда отца ее в тридцать втором ссылали
 в чужой далекий зауральский край,
 из восьмерых голодных ртов, спасая,
 он смог, не знаю как, отправить в Питер
 по адресу какого-то приюта,
 двух старших — Михаила и Анюту.

Брат Михаил, смысленный скромный парень,
 потом зенитное училище окончил.
 Он небо защищал над Ленинградом
 и ратный путь прошел до генерала.
 Анюта же в работниках жила,
 на фабрику пошла, а тут — война,
 блокада, голод и «дорога жизни»...
 В лесном уральском городке Тавде
 жила семья ее тогда на поселенье.
 Братишка Ваня, с эшелона сняв,
 на саночках ее привез с вокзала...
 И в Ленинграде она больше не бывала.

О, до сих пор живет во мне, как боль,
 тот ужас, что щемил ребячье сердце,
 когда я слушал тихий мамин голос,

ее блокадные запретные рассказы,
как «немец сжег Бадаевские склады»,
текла река из сахара, а люди
бросались сквозь солдатов оцепление,
а те по ним — приказ! — стреляли.
Как раз купила у Пяти Углов
с начинкою мясною пирожок,
в котором ногти оказались человечески...
Под этим солнцем наши скорби вечны!

Мой будущий отец в Синявинских болотах
седого комиссара слушал слово
о городе великом над Невую
и шел в атаку на его святыни...
В тавдинском госпитале гвардии сержант
в библиотеке встретил мою маму
и полюбил. И прошагав Европу
войны дорогами — кровавыми бинтами —
вернется к маме он и я явлюсь на свет.
Отец мой не был в Ленинграде никогда,
но среди всех его регалий есть награда:
медаль «За оборону Ленинграда»!

И как забыть еще одну медаль,
другую, что давали к юбилею
Петра Великого создания на Неве...
Отец явился на вручение чуть поддатый.
Заметил бдительный партийный секретарь
и выставил его из зала! После
сказал он, плача, маме: — Там... перед атакой
давали нам наркомовских сто грамм...
тогда нужны мы были им такие!
Потом повел сынов ораву в баню —
из раны с кровью вышел в таз осколок...

Я помню, был он так блестящ и колок.
Мой Ленинград! Судьба мне дарит встречу.
Вновь вижу вечно юный взмах Невы
и слышу грудью пресный вздох залива,
вновь погружаюсь в логос «перспектив» —
за каждый угол зацепилась память.
Проспект Владимирский... Стремянная... Опять
я проникаю в мир дворовых арок,
в которых исчезают Незнакомки.
Вот бомж, как встарь, пасет пивной ларек,
а пива — валом! Вновь доходит слева
тугое эхо улицы Марата,
где бард один счастливым был когда-то.

Родная Поварская! Тут уж я
живал — ходил в том кожаном плаще
до пят, что дал в столице поносить
мне гитарист из нашего ансамбля.
(Тому же от отца достался он.
Его отец на фронте в сорок славном,
на интендантской службе процветая,
стянул трофей с фашистского майора).
О, Господи, что вспомнил... Я на Невском.
Водоворот из тех же праздных лиц,
в одеждах, может, больше бурда — моды,
да у Казанского шумят пиры свободы!

Дивясь разнокалиберной толпе
под дланью «зачинателя» Барклая
за рубль беру глоток свободы слова
и три бросаю в шляпу старику.
А Ленинград мою стезю кружит:
в Румянцевском саду кипит «гайд-парк»,
гремят витии в ошалевших чаек...

Меж новых полюсов тщеты мирской,
у входа в «альма-матер», над рекою
два древних сфинкса смотрят друг на друга
с египетской улыбкой на устах
и вечностью в базальтовых глазах.

О, Ленинград, прими мой робкий стих —
любви признание и благодарность сердца!
Не обольщаюсь я, мне непосильна высь
воспеть твои священные граниты:
не хватит лет, гордыни и таланта,
судьбы, игры, везения, страстей,
дуэлей, промыслов, трудов и вдохновенья —
всего того, что гений составляет.
Но вот любовью я не обделен
и воздаю за то смиренно Небу,
живу любовью и молюсь любви!..
Мой Ленинград, всегда меня зови!

1989

ЗАПОРОШЕННЫЕ АЛЛЕИ

Еще ноябрь, но грянули морозы,
как в годы юности, когда я — не забыл! —
не замечая поселковой прозы,
континентальность климата любил
с его зимой искристой, твердой, щедрой
на зов лыжни и карусель катков,
катанья с гор, снежки... Какое ретро
всплывает в памяти — с морозцем!

— тех годков

с рефреном вечного вопроса мамы:
— Во сколько ждать тебя, скажи, сынок,
ведь на работу завтра рано... Память,
ей и мороз — из юности звонок,
где звездный звон и снежные развалы,
окошек свет, столбы дымов из труб,
сапожек скрип, тепло запретных талий,
испуг холодный первых губ...

Ушло, растаяло. И изменился климат.

И я не тот. Неузнаваем век.

И молодость, увы, невозвратима,
вот, разве что, мороз и снег.

Но что пенять года и суетиться?

Прошли — твои, с тобою, для тебя!

Не лучше ли на лыжах прокатиться,

остаток лет в раздумьях не губя,

в очередную дурочку влюбиться

или, в конце концов, влюбить ее в себя?!

Чернобурковые дамы
запорошенных аллей,
как прекрасен ваш упрямый
и извечный дефиле!

Длинноногие мгновенья,
музы дерзких ветерков,
героини всех творений,
пересудов, драм и снов,
нимфы улочек пропащих
и райкомовских контор,
королевы немудрящих
песнопений в ля — минор,
феи тайные свиданий
и летаний в облака,
захолустий оправдания,
жизни лучшая строка!...

Говорят мне: ты не мальчик,
на висках вон — серебро.
И какой в тебя вселился,
извините, бес в ребро?

В твоей юности тону я,
распростившийся с былым,
и назло годам и сплетням,
буду злостно молодым.

За подаренную юность
я прощу людскую спесь.
Там — в конце тоннеля — скажут,
для чего мы жили здесь.

Не боясь суда мирского,
отдаюсь тому суду.
В комнатах, пропахших маем,
я тебя сегодня жду.

Когда прибой твоих волос
смирно робким прикосаньем
и вихрь танцующих стрекоз
сбивает резкость мироздания...

Заблудилась дождинка
в модной стрижке волос...
Ты, девчонка — хмелинка,
можешь тронуть всерьез.

Испугаться бы впору
неуемной душе,
только нимфа лесная
к нам спорхнула уже.

Только тонут в заречном
далеке облака...
Быстротечное — вечно,
остальное — пока.

Когда замерзшая провинция
оттает в марте, я опять
начну прощать ее провинности,
ее обиды забывать,
бродя в излюбленных окрестностях,
где в окаеме большака
живут в извечной неизвестности
деревья, травы, облака.

Не стану клясть, как было давеча,
глушь долготы и широты,
а буду здесь в березах бражничать,
вдохну сосновой доброты
и, обольстясь метаморфозой,
в бору прошляюсь допоздна,
где так привычно душу пользует
провинциальная весна.

Ты, молодая ель,
растешь и вширь и ввысь
двадцать второй апрель!
И словно поднялись
вслед за твоей весной,
как на крыло птенцы,
наличник прорезной
и теплых стен венцы,
вот-вот взмахнут крылом
и крыша, и сарай,
и мой покинут дом,
оставив птичий гай...
Усадьба — в облаках,
за елью хвост трубой!
Возьмете ль впопыхах
хозяина с собой?

Пронизанный шмелей гуденьем,
так нежно-розов и пахуч
цветет шиповник извиненьем
за то, что вечно он колюч.

Но разве это прегрешенье?
Он — защищаясь! Он — не злюч!
Он дарит нам свое цветенье
лишь потому, что был колюч.

В дальнем поле
за межой высокой...
одинокая
березка ждет меня.
(Строчки из детства)

Вот и май отцвел.
И июль пройдет.
Бабым летом колдовским
побалует осень.
Где любовь была,
там печаль живет.
И ничто не забыть,
с плеч не сбросить.

Выше крыши выросла
мамина ель.
Позабросили ласточки
избы стреху.
И уже не скрипнет
детская колыбель.
А еще не выплакал
свою строку.

А еще не допел,
до дна не вылюбил,
но уже за межой
постарела береза.
Все душа улетаёт к ней
диким голубем,
на сережки роняет
свои птичьи слезы...

Без мамы так трудно мне жить,
хоть сам до седин уже дожил...
И всё понимать и любить
на свете приходится строже,
и смотрится пристальней вслед
свой путь начинающим детям,
и сколько б ни прожил я лет —
пред мамою в вечном ответе.

Как будто все дожди проморосили,
как будто все невзгоды позади —
горят костры рябин по всей России,
горят рябины, что отец мой посадил.

Горят в лесах, в садах и палисадах,
горят в урочищах умерших деревень,
горят рябины незаслуженной наградой
за наших дней пустую дребедень.

В Тавде горят, горят в московских
 скверах,
пытаясь снять с России черный сглаз.
Горят они как символ русской веры,
что, может быть, спасет
 в который раз!

И гонишь, и гонишь!
Любимых уводишь, друзей хоронишь...
Куда ж ты, не торопись,
разъединственная жизнь,
тебя не умолишь, ничем не тронешь —
и гонишь, и гонишь
на кудыкины горы
по самые помидоры...

Детство, юность, зрелость, старость —
быстрой жизни времена.
Годы — вскачь! Вся жизнь — с налету!
Приподняться б в стремених,
оглянуться, отдышаться,
посмотреть, что впереди —
вдруг уже и впрямь осталось
только поле перейти?
Но незримый иноходец
нервно тянет повод
и опять помчимся с гиком!...
А куда?

Изба с дымком, береза белая,
по косогору — санный путь
в янтарных катышках навоза,
внизу — живая чуть
речушка, сдавленная льдами,
ждет марта, там уж как-нибудь...
Термометров, времен и судеб
тягучая застыла ртуть.

Былинно тихо, вяло, скучно...
Но, чу! — за скатертью льняной
полей и косогоров слышен
гул, показалось, поездной...
А это «боинг» пролетает,
как ангел белый неземной,
сквозь безвоздушные пространства
над вымирающей страной.

Не то чтоб жизнь обломала,
но все же опыт научил
и ясно мне с годами стало:
в прощенье — к мудрости ключи.

Все напрямки, все в лоб старался.
Налево — враг. Направо — друг.
Мир напроверку оказался
сложней, запутанней вокруг.

И сколько я принес несчастья,
сам горько ошибался часто,
пока гордыню превозмог.

Я с детства угол рисовал,
а, видно, стоило б овал...
Поди, не поздно надоумил Бог?!

Не иди ты, туча,
да на наше село,
ох, на наше село —
жить и так невесело.

Обойди ты, туча,
соседний хуторок,
соседний хуторок —
там милый ждет вечерок.

А пролейся, туча,
на чужую сторону,
на чужую сторону —
там постылый муж ведет войну.

Может там, за чертой, и прекрасно,
но когда ее переступлю,
будет жаль, если тут понапрасну
все, что вижу, храню и люблю.

Даже если тех липок куртину
на декабрьском простынном снегу
увидать сквозь могильную глину
и провести хоть раз не смогу...

Сентябрь — он лета завистник
и зависть его не бела:
от взмахов сентябрьской кисти
одежда лесов расцвела.

Смотрю, набираюсь свеченья
багрянца, огня, желтизны,
чтоб сердцу хватило терпенья
дождаться зеленой весны.

У этих дней особенная грусть,
 в такие дни всегда в леса стремлюсь
 от суеты сует, от серости людской,
 от пошлых будней и мороки городской,
 от ржавой зелени поникших тополей
 по вымокшей стерне похеренных полей,
 рожать уставших со времен трехполки —
 в березняков прозрачные светелки,
 хранящих след сентябрьского поджога,
 заветной тропкой вдоль Святого лога
 иду к кресту Угоднику Николе,
 чей грубый лик среди берез и елок
 влечет сюда, и не крестясь молюсь
 я тут за мир, в котором вечна грусть,
 в котором трезвая кружится голова
 и веют свежестью затертые слова,
 где, словно в юности, волнует кровь
 банальнейшая рифма «вновь — любовь»,
 где верится, что жизнь живешь не зря,
 в такие дни в начале октября...

Вновь осень — пора поминанья...
 Тогда и вчера, и теперь
 мне хочется верить упрямо,
 что вот приоткроется дверь
 и ты на пороге с гитарой:
 — Ну, шеф, как здоровье твое?
 О чем-то веселом расскажешь
 и что-то щемяще споешь...
 Но нет, та зловещая осень
 с тобой разлучила всерьез
 и с неба дождейки слетают
 на влажные щеки берез,
 и слышен все реже и выше
 надрыв журавлиной струны,
 и падают листья неслышно
 на лик погрустневшей страны.

Вышли на дорогу клены в Константиново
и березы тихие разомкнули круг.
Плачет моя Родина над судьбою сыновей,
над своей судьбиною запечалась вдруг.

Прошумела грозами песенной стихии
жизнь поэта русского, молнией сверкнув.
В кой-то век расщедрилось небо для России,
ниспослав не ангела — душу ей вдохнув!

Что мне споры с визгами: сам или повесили,
кто там виноватее — эти или те...
Я пришел паломником в монастырь поэзии
и молюсь под кленами горней высоте.

*Константиново,
3 октября 1995*

Юрию Конецкому

Поэты в городе гостили
и... не случилось ничего:
мещане дружно ели, пили
в угоду чрева своего,
юнцы кололись героином,
копался в грядках ветеран
и для утех простолюдинов
светился голубой экран.
Но все ж десятка три сограждан
в назначенный сошлись срок
и стал на этот вечер каждый
печальник, мытарь и пророк.
А гости вперебой читали,
провинции сердца пронзав!
Слезой и мыслью отвечали
им благодарные глаза...
Катилась месяца монетка
за равнодушные дома,
над тоненькой тетрадкой в клетку
сидела девочка впотьмах.
Ей стал казаться город странным,
с душой, закрытой на засов,
а мир иной и пестротканый
врывался вереницей слов!
Ее пером перед рассветом
недоумение вело:
гостили в городе поэты
и не случилось ничего?!

Царя над седым суходолом,
церквушка стоит без крестов,
с давно разоренным престолом
неправедным гневом отцов.

Разбросаны камни надгробий,
похабно исписан алтарь...
Глядит с небесов исподлобья
Небесный Царь.

Еще лишь золотили трон
вождю и богочеловеку,
а он уже закрыл глаза
его расхристанному веку.

Л. Ладейщиковой

Родившаяся в полдень века
в счастливый материнский час,
она под небесов опекой
так очаровывает нас
неповторимых слов круженьем,
дыханьем вечности в строках.
Она несет над безвременьем
дитя поэзии в руках,
не выдав тайны колыбельной
и не сомкнув бессонных век,
сквозь век тревожный и метельный —
в грядущий двадцать первый век!

В тюменском аэровокзале,
полузакрытом на ремонт,
встречавших увидав сказала:
— Ну, здравствуйте!.. Забыла зонт!

Стройна, но явно не тростинка.
Почти вульгарный макияж.
Легко снимает взгляд с косинкой
наш перед классиком мандраж.

И уж снимая все помехи
быть в притяжении звезды,
она спросила:— Сколько ехать
до нашей песенной Тавды?

Я был растерян не маленько:
это Та самая, Она?
Какая ж «в юбке Евтушенко»?
Увы, в годах, да и ... в штанах?!

Но вечером — в зеленом золоте,
рождая душ соударение,
так безоглядно и так молодо
пронзило зал стихотворение:

«Была бы я шикарней женщиной,
все обошлось бы малой болью.
Хватило ярости и желчи бы —
вас беспощадно отфутболить..

Подсудно все и все карается.
И наваждение растает.
Ногою топну, как красавица!
И рассмеюсь! И вас не станет».

И улетучились сомнения,
и сердце узнает: — Она!
Продлись, прекрасное мгновение!
Тавда тобой покорена!

* * *

Дмитрию Сухареву

Дорога заставит транжирить
о родине тихую грусть...
Заманные русские шири
запомнить нельзя наизусть.

Увидишь неброский лесочек,
откроется речка светло —
как будто в письме между строчек
почувствуешь чье-то тепло.

Поля, перелески, селенья,
поляны, нетронутый бор:
пейзажей родных повторенье
как песни любимой повтор.

В полях этих хочется сеять,
на этих полянах косить
и можно о былях Рассеи
у каждой былинки спросить.

Со смертью опасно играть,
она не кабацкая блядь.
Ни в самой закрутке бедовой,
ни всуе, ни спьяну, ни к слову
не стоит ее поминать.

Ужо не заспит эта дама,
сейчас же отправится в путь,
услышит, учует, узреет,
вперед покаянья успеет
косой своей страшной махнуть.

Всевышний рассудит и примет
решенье в назначенный час,
а прежде, святой ты иль грешник —
живи в самый миг безутешный!
Такая планида у нас.

На птичьих лапах этих елей
еще вчера клесты свистели,
звенел крылом глухарь.

Сегодня ж — гарь, дымятся корни
и ветер, виновато-хлорный,
теснит в болото хмарь.

Оплакать бор пришел лесничий,
не уберег его он нынче —
сожрал пожар-злыдарь.

«Упорна жизнь, да гибель вечна» —
лесник надел мешок заплечный
и пошагал сквозь марь.

...Под куполом вселенской сини
тугая кровь сосны остынет
и вызреет янтарь.

Вновь за сентябринами — бабье лето всласть...
 Родины единственно безвыборная власть.
 Весь мою укромную попробуй разлюбить,
 если сердце штопает паутинки нить,
 если долгой осенью под небес свинцом
 знаю — в доме выстою, построенном отцом.
 И не в счет, коль сетую, плачусь иногда,
 что над этой пажитью взошла моя звезда —
 так не над Невадой же, Господи спаси!..
 Весь моя укромная, закуток Руси,
 здесь любовью маминой я произнесен,
 здесь я вырос; вспоенный молоком сосен,
 здесь тропа намолена в заповедный лог,
 здесь судьба моя уйти в боровой песок.

С отцом не распить фронтовую фляжку,
 с мамой под жалостную песнь
 не всплакнуть...
 Уж века осталось на одну затяжку,
 а с кем его проводить — помянуть?

Уходит век в календарную вечность,
 а что остается во мне от него?
 Девчонки зеленой поцелуй огуречный
 да пара выплаканных небу стихов...
 6 декабря 2000

Содержание

ЧИСТЫЙ ДВОР

«Звезды падают быстрыми искрами...»	6
«Лежит бабка на печи...»	7
Баллада о Ване — Дураке	8
«Не курю, а таяет почему-то...»	10
«Цветет июль и манит от дорог...»	11
«Звенело солнце, стекленели ели...»	12
«За обрывом, где синие глины...»	13
«Полоскались в веслах отсветы заката...»	14
«Чистый двор ваш в объятьях черемух...»	15
«Вспомнить в этот блеклый вечер...»	16
«Пускай хранит резная берегиня...»	17
«Офорты зимние сменяя...»	18
«Река таежная, Тавда-река...»	19
«Твоей водой гордились сукноделы...»	20
Песня о Тавде	21
«Когда бы я здесь ни проехал...»	23
«А жизнь, как поглядишь — театр!...»	24
«Вот наконец ушла двухдневная метель...»	25
«Не мне подружка ветренная слава...»	26
«Природе стихи ни к чему...»	27
«Когда откроешь вдруг...»	28

ОСТЫВШИЙ ПОДОКОННИК

Муза	30
«Все настоящее — случайно...»	31
«Наступит долгий зимний вечер...»	32
«Неужели вдруг удача...»	33
«На качелях — по августу — ввысь...»	34
«Вчера уехала, а мне опять...»	35
«Простим — пусть говорят о нас...»	36
«Сегодня делал фотографии...»	37
«Ночью одному грустно...»	38
«Не связывать хочу, а рвать...»	39
«Опять кричишь и плачешь...»	40
«Изведать ад начертано и мне...»	41
«Движения лица при разговоре...»	42
«Печальны серые леса...»	43
«Прощальный черный разговор...»	44
«И царственный декабрь мне не сулит фавор...»	45
«У любви такие времена...»	46

«Когда они прощались и прощали...»	47
«Что наша жизнь, в конце концов, такое...»	48
«Меня «который час?» спросили...»	49
«Раскинулось море широко...»	50
«Всходит черное солнце страха...»	51
«Что ни прочти — все к прошлому набат...»	52
Вещее	53
«Раз в год, самой темною ночью...»	54
«Это все позади...»	55
«Когда еще снова приеду сюда?...»	56
МОЙ ЛЕНИНГРАД (фрагменты поэмы)	57

ВЕСЬ МОЯ УКРОМНАЯ

«Еще ноябрь, но грянули морозы...»	62
«Чернобурковые дамы...»	63
«Говоря мне: ты не мальчик...»	64
«Когда прибой твоих волос...»	65
«Заблудилась дождинка...»	66
«Когда замерзшая провинция...»	67
«Ты, молодая ель»	68
«Пронизанный шмелей гуденьем...»	69
«Вот и май отцвел...»	70
«Без мамы так трудно мне жить...»	71
Горяч рябины	72
Жизнь	73
«Детство, юность, зрелость, старость...»	74
«Изба с дымком, берега белая...»	75
Сонет	76
Русская песня	77
«Может там, за чертой, и прекрасно...»	78
«Сентябрь — он лета завистник...»	79
«У этих дней особенная грусть...»	80
Памяти барда Евгения Шигина	81
Юбилей Есенина	82
«Поэты в городе гостили...»	83
«Царя над седым суходолом...»	84
Мандельштам	85
«Родившаяся в полдень века...»	86
Римма Казакова в Тавде	87
«Дорога заставит транжирить...»	89
На гибель Бориса Рыжего	90
«На птичьих лапах этих елей...»	91
Родина	92
«С отцом не распить фронтовую фляжку...»	93

Литературно-художественное издание

Ермолаев Валерий Николаевич

И вызреет янтарь

Составитель и редактор В. Шевелев

Фотограф В. Ермолаев

Дизайн, компьютерная верстка

И. Васьков, А. Казанцев

Подписано к печати 29.09.2003г.

Формат 70х90 1/32

Печать офсетная. Тираж 900 экз. Заказ 3211.

Издательство журнала «Веси»

623950, г. Тавда Свердловской области, ул. Лазо, 2-а

Отпечатано в Ирбитской типографии